

Сов. культура, 1963, 17 янв.

КРАСАВЕЦ ЧЕЛОВЕК!

ЕСТЬ В ОБИХОДЕ красивые, полные сокровенного смысла слова, которые не изнашиваются даже от частого их употребления, — солнце, счастье, мир, Родина, честь, долг...

Есть у каждого человека красивые впечатления, которые никогда не блекнут.

Не стираются в моей далеко не идеальной памяти несколько впечатлений, хотя некоторые из них относятся к поре молодости, и часть из этих дорогих воспоминаний связана с именем Станиславского.

В слове «Станиславский» или ласковом «К. С.» есть что-то дорогое русскому сердцу, красивое, незабываемое, не бледнеющее. Слово «Станиславский» и сейчас сохранило такую же притягательную силу, какую оно имело при жизни Константина Сергеевича. «Красавец человек» — так назвал его Горький, он гордился, радость нашего народа, слава и честь русского искусства, маяк искусства мира.

Я мало знал К. С.-актера. Мне повезло увидеть только Гаева и Астрова, но при всем моем преклонении, например, перед его Астровым я не прибавлю об исполнении ни одного нового слова, так его Астров всеми понял, так о нем всеобъемлюще рассказано.

Увы, мне не довелось бывать и на его уроках. Публичных лекций он не читал, в дискуссиях не участвовал. Пропущено невозвратимое — личное общение. И тем не менее — я это хорошо помню — его «душа» присутствовала во всем, что именовалось искусством Страны Советов. Он воздействовал на жизнь непосредственно — спектаклями, статьями, книгой и косвенно — через его многочисленных учеников и последователей, а также и тех, кто находился в споре с ним. Его имени нельзя было миновать, и в этом подлинное величие К. С. — истинный памятник за его служение Человеку. И никогда к этому памятнику «не зарастет народная тропа».

Пора расцвета его гения совпала со временем, когда зашаталось, было, здание реалистического искусства. В 20—30-е годы разгорелись острые споры по поводу искусства, нужного революции (кстати, это же повторилось в 60-х годах). Молодому поколению почти всегда кажется, что их отцы жили неверно. Ему свойственно как преклонение, так и отрицание. Но последнее всегда оказывалось пагубным, потому что чаще всего оно бывало нигилистично и потому бесплодно. Эта часть молодого поколения, не понимая дурного последствия огульного отрицания всего, с легкостью, свойственной молодому порыву, и с реакцией нестойкой отвергала то, что было, в сущности, для нее «молоком мате-

ри», то, на чем могла она вырасти, благодаря чему могла стать богатой. Еще ничего не зная, путем ничего не умея и ничего путного не сделав, она заявляла о себе лишь отрицанием. С помощью крика и потуг на всякие «новаторства» она пыталась нажить капитала, тьмась безапелляционной суждений подменить талант. Я хорошо помню таких.

Но вот прошло время, и оказалось, что эта часть молодых, иногда талантливых людей, так ни в чем полезном себя и не проявила. Они были шумливы, крикливы, эти «новаторы», и только...

Как всегда, бок о бок с ними шли разного сорта и калибра снобы, а порой и критики.

Основной мишенью для них был главный, стойкий и принципиальный борец за реалистическое искусство — Константин Сергеевич. Какой разгул грубой и уничтожающей хулы несся в его адрес!

Здесь я не говорю о той огромной помощи в борьбе за реалистическое искусство, какую оказывала тогда партия большевиков, — она бесценна и непререкаема. Но и само по себе появление К. С. или его слова в газете, журнале пугало все доводы противника реализма, и тогда, словно с восходом солнца, таяли ночные тени и как бы тянуло свежей прохладой горных вершин. В эти моменты в противоположной стороне слышался лишь скулеж с сжатými от бесильной злобы зубами. Такова была сила ума, личного обаяния К. С., сила его эстетических норм и норм этических — высоких, чистых, светлых, увлекающих, которым в первую очередь он следовал сам, и что делало его искусство, его жизнь и самую личность неуязвимой, незапятнанной и великой самой ло себе.

Я ни разу не видел К. С. за кулисами, хотя участвовал несколько раз в массовых сценах театра, главным образом в «Днях Турбиных», когда МХАТ обращался к студии Завадского помочь театру сыграть сцену в казарме. Но зато я несколько раз видел, как он смотрел спектакли. Сколько мне суждено жить, я этого не забуду и об этом хочу рассказать.

Два-три раза я видел его во МХАТе-2 и несколько раз на генеральных репетициях в его театре.

Так смотреть спектакли, как смотрел их К. С., надо уметь. Ничего подобного мне видеть больше не удавалось. В том, как он смотрел: улыбался ли, морщился, смеялся или беспокоился, было видно, сколь дорого ему театральное искусство, вне зависимости от того, смотрел ли он свой спектакль или спектакль другого театра. Оторваться от К. С. было невозможно, порой это мешало са-

мому смотреть на сцену.

Он, не скрывая, вытирал платком слезы или вдруг весь собрался настороженно и наблюдал за актерами или режиссерской трактовкой — к чему-де это приведет, а то шепчет вместе с исполнителем текст, повторяя мимику актера.

Говорили мне, что Вл. И. Немирович-Данченко, ни разу не улыбнувшись за весь спектакль, утверждал, что он много смеялся, а Станиславский, прохотав весь спектакль, вдруг ругал актеров: «ужасно!». В этом нет разноречия, если даже это не анекдот. Сейчас — он весь порыв, анализ — потом.

Как смотрел он! Вскинет черные бровищи и ждет, что дальше! А то засмеется! Нет, не смеется, а разительно хохочет, непосредственный, как ребенок, без этакое ложного этикета, без боязни уронить свое величие. А то обернется в зрительный зал и аплодирует залу огромными ручищами, как бы подбадривая его к реакции, как бы призывая радоваться общей радости, достигнутой в искусстве театра.

Этот случай, о котором я упомянул, произошел не в его театре — в другом. И тем дороже был и его смех, и его раздумья, в этом была крохотная заинтересованность в расцвете искусства вообще. Чистый и неподкупный, он был бескомпромиссен в стремлении к истине, как под стать только великому, святому отношению к идее.

Два-три раза я видел К. С. в зале МХАТа-2 и непременно сбежал с галерки, чтобы постоять рядом с этим физически и духовно могучим человеком. Мне было дорого постоять рядом с К. С. и... — не стыдно признаться в этом — как бы случайно задевать за его рукав или полу пиджака, веря, что через это прикосновение и я стану лучше. Однажды он улыбнулся мне, то ли моей наивной физиономии, то ли поняв тайный смысл моего прикосновения.

Когда мы бывали на генеральных репетициях в самом МХАТе, то следили за большим человеком, сидящим за маленьким столиком с белой бумагой и под глухим абажуром лампы, которая зажигалась время от времени неярким, но спокойным светом — тогда он писал замечания, возникавшие от просмотра, пристальный и без остатка погруженный в то, что происходит на сцене. Такого средоточия я тоже не знаю.

Но вот антракт. Мы видим, как стоит он, могучий, седовласый, высокий — на голову выше самых высоких — и обменивается мнениями. Стоит среди своих детей, внуков, окруженный правнуками — нами, сидевшими на верхних ярусах. Он знал, что мы тоже здесь

и неотделимы от общей семьи, ведь он этого добивался.

Нет, это не фантазия молодого воображения. Тогда на генеральные репетиции собирались все, кто только мог попасть на них, это был праздник, и театр умел создавать этот праздник.

Отец большой, талантливой, разноликой, бурной, беспокойной творческой семьи находящихся на сцене и в зале, он стоял, как патриарх, и радовался своему «племени молодому». Это было прекрасно, радостно, светло. А покойно было так, как покойно бывает, говорят, за каменной стеной. Как в сени могучего дуба, было всем удобно, уютно, приятно, и будто были с ним все талантливы, умны, и будто всех ожидало прекрасное творческое будущее. Великий, он не подавлял своим величием, а, наоборот, вселял веру в каждого, что и он может, что и он талантлив, что и у него впереди много, много всего, лишь бы он работал, добивался, пытался, дерзал. И, казалось, вот возьмись я сам, и сам я сделаю что-то важное, хорошее, стоящее. А вместе с тем было ясно, что наряду с выдающимся сценическим талантом К. С. был награжден даром, отпускаемым человеку раз в столетие, — он был отмечен талантом упорно и с любовью работать.

Все знали, что он день за днем бьется над своим методом сценического действия, прокладывая все новые и новые пути в тайны сценического существования, что не уходит в умозрительное, не отрывается от ежедневной практики. Все знали, что он **работал**, что он **делал**. Он добивался результата сегодня, чтобы завтра добытое положить ступенью к следующей разгадке, откидывая с дороги прочь все ненужное, временное, он легко и без ложной стеснительности признавал за ошибку то, что почел ошибкой.

Только теперь мне стало понятно величие этой ненасытной жажды познания, поиски новых путей, величие подвига во имя искусства, отказа от одного хорошего ради другого — того, что лучше. В своей беспокойной пылкости он был моложе всех окружающих, и его нельзя было обогнать.

Это не панегирик, не домысел, это то чувство и те мысли, которые врезались мне в сердце и в голову, когда я видел красивейшего человека, какого мне только доводилось видеть в жизни, и я поверил горьковским словам: «Вот... какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ницуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя».

Н. МОРДВИНОВ,
народный артист СССР.